

**С. В. Куликов**

## Спор между «пессимистами» и «оптимистами» продолжается...

**Рецензия на сборник статей: Россия и Первая мировая война: экономические проблемы, общественные настроения, международные отношения: сб. ст. / Сост. С. М. Исхаков; отв. ред. Ю. А. Петров; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук; Науч. совет Рос. акад. наук по истории социальных реформ, движений и революций. М., 2014. 416 с.**

100-летие начала Первой мировой войны, отмеченное в мире в минувшем 2014 г., снова привлекло к этой поистине Великой войне внимание историков и широкой общественности, хотя уже на подходе к ее юбилею Первая мировая неоднократно становилась объектом коллективного исследовательского интереса. Так, еще 3–4 мая 2012 г. в Самаре была проведена Международная научная сессия «Великая война 1914–1918 гг. и Россия», организованная Научным советом Российской академии наук по истории социальных реформ, движений и революций совместно с Поволжским отделением этого совета и Фондом русской истории (Нидерланды) при поддержке Самарской областной универсальной научной библиотеки. Участники сессии представляли Россию (Архангельск, Курск, Москва, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов и Челябинск), а также Азербайджан, Грузию, Украину, Францию и Японию. Рецензируемый сборник статей как раз и подготовлен на основе докладов, обсуждавшихся на этой сессии.

Сборник открывается предисловием, которое написано его составителем С. М. Исхаковым, и, очевидно, имеет некий программный характер, отражая в какой-то степени кредо всех участников сборника, а потому достойно особого внимания. В предисловии дается тонкий анализ отечественной и зарубежной историографии Первой мировой войны, ставятся новые проблемы ее изучения и по-новому трактуются старые, причем автор делает это, соблюдая баланс между новацией и традицией, следуя в русле истинного академизма.

С. М. Исхаков резонно замечает, что начало изучению Великой войны в постсоветской России было положено в первой половине 1990-х гг., а именно — в декабре 1992 г. Именно тогда по инициативе академика Ю. А. Писарева создается Ассоциация историков Первой мировой войны. В результате усилий сотрудников Ассоциации и Совета РАН по истории революций в России во главе с академиком П. В. Волобуевым 24–26 мая 1994 г. в Москве впервые в Российской Федерации была проведена Международная научная конференция «Первая мировая война и XX век», посвященная ее 80-летию, причем в конференции участвовала «большая группа историков, в том числе из ряда европейских стран и США» (с. 5). Из дальнейшего изложения создается впечатление, будто следующей важной вехой на пути изучения в нашей стране Великой войны стала только Самарская научная сессия 2012 г. Между тем, в предисловии совершенно не упоминается Международный научный коллоквиум «Россия в Первой мировой войне», проходивший 1–5 июня 1998 г. в Санкт-Петербурге.

На коллоквиуме были презентованы 27 научных докладов, распределенных по шести секциям: 1) «Теории, концепции, методологии»; 2) «Война и общество»; 3) «Политика»; 4) «Культура и политическая культура»; 5) «Империя, национальные движения»; 6) «Экономика». В коллоквиуме участвовали российские ученые из Москвы, Курска, Петербурга, Петрозаводска и Тамбова и их зарубежные коллеги из Великобритании, Германии, США, Финляндии и Франции, всего — более полусотни исследователей. За всю историю изучения Первой мировой войны в постсоветской России это был едва ли не самый представительный научный форум, итогом деятельности которого стал сборник «Россия и Первая мировая война» в 564 с. общим объемом около 40 п. л.<sup>1</sup> Кстати, на Петербургском коллоквиуме выступали и некоторые участники Самарской сессии, в частности — и автор предисловия к сборнику ее материалов.

Рассуждая о том, «нужно ли было отечественной правящей элите вообще ввязываться» в Великую войну, С. М. Исхаков находит «правомерной» точку зрения, согласно которой применительно к России «кроме чисто имперских соображений и стремления поддержать собственный ложно понятый престиж в ситуации с сараевским (сербским) кризисом, никаких других реальных оснований для этого не существовало» (с. 5–6). Можно только приветствовать, что автор оперирует понятием «правящая элита», персонифицируя историче-

<sup>1</sup> Россия и Первая мировая война (Материалы международного научного коллоквиума) / Отв. ред. Н. Н. Смирнов. СПб., 1999.

ский процесс и освобождая его от мертвящего влияния экономического детерминизма, однако вместе с тем игнорируется жесткая геополитическая сцепка правящей элиты Российской империи с правящими элитами союзных ей держав — не только Сербии и Черногории, но и Франции и Великобритании, сцепка, наблюдавшаяся на уровне финансовых, дипломатических и династических связей и делавшая вовлечение России в войну именно в июле 1914 г., после целого ряда отступлений русской дипломатии в 1908–1913 гг., содействовавших падению престижа Романовых внутри и вовне империи, практически неизбежным. Если верно то, что вступление России в войну в 1914 г. вызвало в ней антимонархическую революцию в 1917, то столь же верно и то, что ее невступление в защиту Сербии вызвало бы в России точно такую же революцию уже в 1914.

Обосновывая свое мнение о военных перспективах Российской империи, С. М. Исхаков пишет: «Россия, ослабленная недавней неудачной войной с Японией и революцией 1905–1907 гг., не была готова к длительному противоборству с таким опасным соперником, как Германия и ее союзники. Огромная империя не могла долго выдерживать непосильное для нее бремя милитаризации всего народного хозяйства, огромных военных расходов и гонки вооружений, а ее политический строй оказался неспособен обеспечить внутренний социальный мир в стране и сплотить всё общество, что привело его после Февральской революции 1917 г. к еще более глубокому кризису и тяжелым испытаниям» (с. 6). Действительно, Российская империя «не была готова к длительному противоборству» с Центральными державами один на один, однако уже в начале войны ее полностью поддержали Франция и Великобритания, что создало предпосылки для длительного участия (три с половиной года!) России в мировой схватке, причем эти предпосылки возросли после присоединения к Антанте Японии (в 1914 г.) и Италии (в 1915), а затем — США и Китая (в 1917).

Относительно же «политического строя» можно утверждать со всей бесспорностью, что политический строй любой активно воевавшей державы «оказался неспособен обеспечить внутренний социальный мир в стране и сплотить всё общество». В случае со странами Германского блока это очевидно, но обратимся к странам-победительницам: в 1916 г. в Дублине (в третьей столице Соединенного королевства!) вспыхивает восстание, подавленное ценой артиллерийского разгрома чуть ли не половины города. А раздираемая германофобией республиканская Франция, в которой по бесосновательному подозрению в измене к смертной казни приговаривали министров и где в концентрационных лагерях содержали французских граждан только за то, что в их жилах текла немецкая кровь? И здесь не обойтись без компаративного подхода — лишь он обеспечивает относительно объективные, взвешенные оценки, вписанные в конкретно-исторический контекст, а не вытекающие из отвлеченных доктрин или авторской субъективности, одобренной к тому же в случае со многими западными исследователями двойными стандартами.

Далее, в случае с «политическим строем» России необходимо, видимо, обозначить разницу между периодами до и после Февраля 1917. В этой связи важное методологическое значение имеет замечание П. В. Волобуева, который справедливо подчеркивал, что всякому, изучающему отечественную историю периода Великой войны, «приходится иметь дело, по крайней мере, с тремя Россиями. Это Россия царская, Россия демократическая, просуществовавшая всего 8 месяцев в 1917 г., и Россия советская, ставшая в 1922 г. Советским Союзом. Отдаленное эхо Первой мировой войны можно услышать и в России четвертой — посткоммунистической и постсоветской» (с. 407). Приведенная цитата взята из раздела 4 сборника («Из архива Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций»), где опубликованы предварительный и окончательный варианты доклада П. В. Волобуева «Первая мировая война и историческая судьба России», с которым он выступил на упоминавшейся выше Московской международной конференции 1994 г. Исходя из методологического замечания П. В. Волобуева, вряд ли корректно закономерности, свойственные одному периоду, автоматически переносить в другой период, поскольку исторический процесс хотя и непрерывен, универсален, но вместе с тем эта непрерывность обуславливается его прерывностью, дискретностью — целое создается из частей.

«Ныне, — пишет С. М. Исхаков, — есть немало желающих возложить главную ответственность за поражение России в Первой мировой войне на партию большевиков, однако подобной задачи во имя победы революции она и не ставила» (С. 6). Это утверждение не может не вызвать возражений: во-первых, «мода» возлагать на большевиков ответственность за поражение России в Первой мировой войне возникла еще в 1917 г. и имеет обширные источниковедение и историографию; во-вторых — партия большевиков действительно никогда «не ставила» своей целью поражение в войне России как таковой, однако в самом начале войны В. И. Ленин объявил, что «меньшим злом» является поражение в войне царского правительства, олицетворявшего на тот момент, хотя бы с точки зрения международного права, именно Россию как таковую. Здесь опять очевидна методологическая важность воспроизведенного выше замечания П. В. Волобуева о необходимости дискретного восприятия «русской истории» Первой мировой войны, большевистский период которой ознаменовался не только Брестским миром, но и причастностью большевиков к подготовке Ноябрьской революции 1918 г. в Германии, а значит — и к ее поражению в Великой войне, что создало в свою очередь условия для «воссоздания Российской империи» теперь уже в виде СССР.

«Не выдерживает критики, — заключает С. М. Исхаков, — и модная ныне версия, будто в 1917 г. мифическая победа над врагом якобы уже была у России “в кармане” и к моменту подписания знаменитого Версальского мирного договора 1919 г., который подвел, наконец, черту под этой страшной мировой войной, Россия была бы вместе с Англией, Францией и США в стане победи-

телей, а не среди проигравших ее, еще более униженных и опозоренных. В действительности военно-стратегическое положение России к концу 1917 г. было совсем не блестяще, а ее армия воевать не хотела и физически и материально уже не могла» (с. 6). Для ответа на вопрос, выиграла Россия Великую войну или нет, необходимо опять обратиться к предложенной П. В. Волобуевым концепции о «трех Россиях».

Возьмем Россию царскую. Выступая 14 августа 1917 г. на Государственном совещании в Москве, верховный главнокомандующий генерал Л. Г. Корнилов открыто признал: «В наследие от старого режима свободная Россия получила армию, в организации которой, конечно, были крупные недочеты. Но, тем не менее, эта армия была боеспособной, стойкой и готовой к самопожертвованиям»<sup>2</sup>. На том же совещании 15 августа генерал М. В. Алексеев удостоверил: «В руки новой власти поступила армия, которая способна была выполнять и дальше свой долг и наряду с союзниками вести многострадальную Россию к скорейшему окончанию войны»<sup>3</sup>. Наконец, председатель ЦВПК, бывший военный и морской министр Временного правительства А. И. Гучков тогда заявил, подразумеваемая канун Февральской революции, что «судьба войны за последние месяцы до революции повернулась в благоприятную сторону» для России, поскольку ее «армия почувствовала себя снабженной и в боевом, и в интендантском отношении так обильно, как никогда»<sup>4</sup>.

Вряд ли у Корнилова, принципиального республиканца, Алексеева, более всех генералов содействовавшего победе революции, и Гучкова, ставшего вообще вождем Февральского переворота, имелись основания для приукрашивания военных перспектив низложенного ими старого порядка. Вместе с тем перечисленные персонажи, в силу своего служебного положения, обладали эксклюзивной информацией, а потому игнорировать их выводы было бы по меньшей мере неверно. Очевидно, что к началу Февральской революции Россия царская войну выигрывала или, по крайней мере, не проигрывала и, вне всякого сомнения, принадлежала к числу стран, являвшихся потенциальными победительницами. Совсем иная картина наблюдается с Россией Временного правительства, которое, тщетно пытаясь усидеть на двух стульях — продолжения войны и углубления революции, вело страну к поражению. Наконец, Россия большевистская, отдав окончательное предпочтение углублению революции, а не продолжению войны, — что к концу 1917 г. действительно было невозможно, — оформила поражение России в войне, но сделала это именно другая, большевистская Россия!

Раздел 1 сборника — «Экономические проблемы, качество жизни» — открывается статьей Ю. А. Петрова «К вопросу о финансовом положении России в годы Первой мировой войны». Несмотря на несколько абстрактное название

<sup>2</sup> Государственное совещание. М.—Л., 1930. С. 62–63.

<sup>3</sup> Там же. С. 201.

<sup>4</sup> Там же. С. 286.

статьи, ее содержание поражает сенсационной конкретикой, поскольку, рассматривая основные этапы урегулирования задолженности России Германии в период между Октябрьской революцией 1917 г. и Ноябрьской революцией 1918 г., автор анализирует новые документы, найденные им в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) и Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве, а также в Федеральном архиве ФРГ в Потсдаме (Bundesarchiv Deutschlands, Potsdam) и Архиве МИД ФРГ в Бонне (Politisches Archiv des Auswaertigen Amtes, Bonn). Согласно подсчетам Ю. А. Петрова, от подписания Брестского мира до Ноябрьской революции в Германии советское правительство выплатило германской стороне около 584 млн марок золотом и бумажными денежными знаками в счет погашения довоенной задолженности и ущерба, понесенного германскими собственниками в годы войны (с. 18).

В статье С. А. Толстогузова «Финансово-экономический кризис и антикризисная политика правительства России в условиях Первой мировой войны» доказывается точка зрения, согласно которой Великая война вызвала в Российской империи «глубокий кризис», получивший «итоговое выражение в финансах». «Антикризисная политика российского правительства, — заключает автор, — закончилась полным провалом и революцией в 1917 г.» (с. 30–31). При всей филигранной сложности фактуры этой статьи, схема получается весьма простая: война порождает финансовый кризис, а тот — Февральскую революцию, причем обратная зависимость тут и не предполагается. Между тем, на заседании Государственного совещания 12 августа 1917 г. заместитель министра-председателя и министр финансов Н. В. Некрасов заявил совершенно недвусмысленно: «Объективный язык цифр говорит нам, что даже учитывая весь рост неблагоприятных обстоятельств, который накопился к моменту революции... — что все эти факторы не объясняют еще того финансового бедствия, при котором мы присутствуем, если не учесть влияния революции и тех особых обстоятельств, которые были ею созданы. Деятели революции должны в этом отношении смотреть правде прямо в глаза. Ни один период российской истории, ни одно царское правительство не было столь расточительно, <...> ни одно не было столь щедро в своих расходах, как правительство революционной России... Сейчас необходимо искать ошибки и погрешности не только в деятельности старой власти, но и смотреть совершенно объективно и беспристрастно на деятельность революционного периода»<sup>5</sup>.

Объясняя причины сложившейся ситуации, Н. В. Некрасов заметил: «Я должен сказать, что новый революционный строй обходится государственному казначейству гораздо дороже, чем обходился старый строй... Те цифры, которые я должен буду назвать, точно так же выходят за пределы того, что мы могли знать в прошлом... По предварительным расчетам, расходы продовольственных комитетов на их организации могут достигнуть 500 миллионов руб.

<sup>5</sup> Государственное совещание. М.–Л., 1930. С. 34.

в год. Расходы земельных комитетов исчислены по предварительным соображениям Министерства финансов в 140 миллионов в год»<sup>6</sup>. Итак, революция, да еще в период войны, была, особенно для России, слишком дорогим удовольствием, чего не хотели признавать лидеры левых партий, наконец-таки дорвавшиеся до воплощения своих партийных программ.

Возвращаясь, однако, к вопросу об обусловленности Февральской революции финансовым кризисом, необходимо решать его, учитывая не только чисто финансовые, но и социально-политические факторы, и тогда получится, что не финансовый кризис вызвал революцию, а революция — финансовый кризис. Вообще более актуальной представляется проблема влияния политики на экономику, а не экономики на политику, принимая во внимание, что экономический детерминизм исчерпал свои возможности как методология еще в советской историографии. Необходимо также ответить на вопрос о том, что понимать под «финансовым кризисом» в до- и послефевральской России, и тут опять не обойтись без компаративистики, удачный пример которой дала Д. В. Анисимова в статье «Фондовые биржи Петрограда и Гельсингфорса в годы Первой мировой войны: динамика индекса и инфляционный фактор».

Хотя с началом войны Петербургская (Петроградская) фондовая биржа, как и биржи других мировых финансовых центров, официально была закрыта, однако торговля ценными бумагами не прекращалась, поскольку существовали неофициальные биржевые собрания, между тем как Гельсингфорсская фондовая биржа не закрывалась вообще. Впервые в отечественной историографии Д. В. Анисимова подвергла тщательному сравнению обе биржи с точки зрения основных параметров их функционирования. Задавшись вопросом: «чему обязан рост индекса — инфляции или позитивным тенденциям в промышленности и торговле?» (с. 79), она пришла к новаторскому выводу: «Биржевой рынок не только не претерпел крах, а напротив, достиг максимума, близкого к лучшим предвоенным показателям. Биржевой ажиотаж был вызван увеличением свободного капитала в промышленности за счет государственных займов, желанием промышленников перехватить инициативу у банков на рынке ценных бумаг и значительной инфляцией» (с. 83–84). Иными словами, рост индекса объяснялся прежде всего «позитивными тенденциями в промышленности и торговле» и только потом — инфляцией. Сравнительно оптимистический вывод Д. В. Анисимовой полностью подтверждается тем, что в январе 1917 г. официально возобновила свою деятельность Петроградская фондовая биржа, символизируя торжество «позитивных тенденций в промышленности и торговле», торжество, сорванное Февральской революцией, т. е. вмешательством политики в экономику.

Новые ответы на старые вопросы пытается найти и Е. С. Кравцова в статье «Влияние Первой мировой войны на налоговую сферу российского государства». Признавая, что во время Великой войны в России «был налицо

<sup>6</sup> Там же. С. 37.

обширный финансовый кризис», она, однако, считает его «толчком для начала радикальных преобразований в фискальной системе, которые, тем не менее, являлись запоздалыми» (с. 98). Здесь можно заметить, что «запоздалость» фискальных преобразований, прежде всего — введения подоходного налога, обеспечила Государственная Дума, получившая соответствующий правительственный законопроект еще в феврале 1907 г., но одобрившая его только в августе 1915 г., когда он поступил в Государственный совет, оказавшийся более оперативным — свое одобрение верхняя палата дала в феврале 1916 г., после чего в апреле закон о подоходном налоге утвердил Николай II.

Статья В. В. Поликарпова «Военная промышленность России 1914–1917 гг. в историческом разрезе» является, несмотря на нейтральное название, наиболее дискуссионной во всем сборнике, поскольку в ней затрагивается не только и не столько военная промышленность, сколько дается полемический анализ отечественной историографии и источниковедения по данной теме. Автор явно ностальгирует по той «золотой эпохе», когда во время хрущевской «оттепели» советские историки, изучавшие Первую мировую войну, получили возможность хоть на йоту отклониться от «единственно верного учения». Конечно, научные достижения этих историков бесспорны и давно заняли достойное место в отечественной историографии, но наука не стоит на месте и, сами того не желая, они способствовали сначала дифференцированию, а затем — и размыванию марксистско-ленинской парадигмы.

Появление новых парадигм, в рамках которых историки успешно продолжают изучение России периода Великой войны, было бы слишком упрощенно трактовать как реализацию подготовленной Ю. В. Андроповым «гигантской идеологической спецоперации по замене марксизма-ленинизма клерикально-державным монархизмом» (с. 34). Сам же В. В. Поликарпов обвиняет Вяч. Никонова в том, что революции у него «творят не массы, а люди с именем и фамилией», воспроизводя при этом концепцию своего «идеологического противника», точнее — собственное понимание данной концепции, с зеркальной точностью — оказывается, к смене парадигм, т. е. к естественному развитию исторической науки также причастны «люди с именем и фамилией». Здесь очевидна методологическая ограниченность конспирологического подхода, независимо от того, что описывается при помощи него — масонский ли заговор или полицейская («гэбистская») провокация. Жизнь, как говорится, всегда сложнее...

Что касается «клерикально-державного монархизма», то В. В. Поликарпов совершенно в духе марксистско-ленинской парадигмы полностью игнорирует ту глобальную переоценку ценностей, которая затронула прежде всего левое крыло первой волны русской эмиграции, чьи представители имели возможность адекватно сравнить реалии Императорской и Советской России. «Живем темнее, чем при Романовых, — записала уже 10 февраля 1918 г. А. В. Тыркова. — Газеты закрыты. За каждое слово грозят смертью»<sup>7</sup>. «Мы, — вспоминала

<sup>7</sup> Наследие А. В. Тырковой. Дневники. Письма. М., 2012. С. 218.



Тыркова позднее, подразумевая дореволюционный период, — уверяли себя и других, что мы задыхаемся в тисках самодержавия. На самом деле в нас играла вольность, мы были свободны телом и духом. Многого нам не позволяли говорить вслух. Но никто не заставлял нас говорить то, что мы не думали. Мы не знали страха, этой унижительной, разрушительной, повальной болезни XX в., посеянной коммунистами. Нашу свободу мы оценили только тогда, когда большевики закрепили всю Россию. В царские времена мы ее не сознавали<sup>8</sup>. Особенно впечатляющей была разница между карательной политикой царизма и большевизма. «Чрезвычайка, — заключал П. Г. Виноградов, — намного превзошла свой образец — старую “Охранку”»<sup>9</sup>. Князю В. А. Оболенскому (кстати, не только кадету, но и масону) режим, существовавший в августе 1906 — апреле 1907 г., т. е. во время действия военно-полевых судов, казался «сравнительно мягким». «Едва ли я ошибусь, — отмечал Оболенский, — если определю число казненных за весь период революции 1904–1906 гг. в несколько сот человек. Что значат такие цифры по сравнению с количеством казней, производившихся в России после Октябрьской революции!»<sup>10</sup> Кем же, с точки зрения В. В. Поликарпова, были Виноградов, Оболенский, Тыркова? Неужели также участниками «гигантской идеологической спецоперации» Ю. В. Андропова?!

В сущности, В. В. Поликарпов пытается ответить на вопрос, насколько эффективно работала военная промышленность Российской империи, причем пессимистический ответ ему заранее известен — работала она неэффективно. Но как, в таком случае, быть со свидетельствами осведомленных современников, таких, например, как Ф. И. Родичев, который 14 августа 1917 г. сообщал на Государственном совещании: «У нас есть всё материальное, что нужно для победы: миллионы людей, миллионы пар ног и рук, снаряжение и вооружение, орудия, данные нам союзниками, ружья и снаряды»<sup>11</sup>. Допустим, выдающийся кадетский адвокат «растекся мыслию по древу». Но вот более авторитетное мнение представителя промышленных организаций Н. Ф. фон Дитмара, заявившего 15 августа, что «армия снабжалась преимущественно в наибольшем числе именно русскими заводами», и к апрелю 1917 г. «доставка в армию со стороны русских заводов по степени соблюдения сроков и исполнения норм оставила далеко за собой заграничные заводы»<sup>12</sup>. «После мировой войны, — соглашается П. В. Волобуев, — в стране остались горы оружия и не только на складах, но и у населения. Красная армия, например, вплоть до середины 1919 г. снабжалась в основном из запасов военного времени» (с. 415).

Как представляется, до Февральской революции военная промышленность России работала относительно (относительно!) эффективно, хотя и можно

<sup>8</sup> Тыркова А. В. То, чего больше не будет. На путях к свободе. М., 1998. С. 288.

<sup>9</sup> Виноградов П. Г. Россия на распутье. Историко-публицистические статьи. М., 2008. С. 425.

<sup>10</sup> Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1988. С. 334.

<sup>11</sup> Государственное совещание. М.–Л., 1930. С. 59.

<sup>12</sup> Там же. С. 264–265.

говорить о разной степени эффективности применительно к ее разным отраслям и периодам функционирования, но где и когда было доступно абсолютное совершенство?! Специалист в области гидролокации К. В. Шиловский, друг революционерки Н. Г. Климовой, в ноябре 1914 г. предложил свои услуги французскому правительству, которое в феврале 1915 г. пригласило его в Париж и дало средства для проведения необходимых экспериментов, однако гидролокаторы, разработанные Шиловским еще в 1915–1916 гг., французы отправили на фронт... «уже по окончании войны», т. е. как минимум через два года!<sup>13</sup> Если подобное происходило в «благополучной» Франции, то что же говорить, пользуясь терминологией П. В. Волобуева, о «второй России», России Временного правительства.

Л. Г. Корнилов сообщил 14 августа 1917 г. на Государственном совещании: «В настоящее время производительность наших заводов, работающих на оборону, понизилась до такой степени, что теперь в крупных цифрах производство главнейших потребностей армии, по сравнению с цифрами периода с октября 1916 г. по январь 1917 г., понизилась таким образом: орудий — на 60 %, снарядов — на 60 %». «В настоящее время, — констатировал далее главковерх, — производительность наших заводов, работающих по авиации, понизилась почти на 80 %»<sup>14</sup>. Между тем, в статье «Развитие авиационной промышленности России накануне и в годы Первой мировой войны» В. Д. Лебедев убедительно доказал, что «в русской армии и на флоте накануне и во время этой войны были созданы образцы военной техники, которые зарекомендовали себя во время кампании с самой лучшей стороны и считались лучшими в мире» (с. 53). В общем, говорить об эффективности военной промышленности России после Февральской революции действительно не приходится, и тут нельзя не согласиться с В. В. Поликарповым.

Новизна статьи Н. Ф. Тагировой «Хлебная торговля в России 1914–1917 гг.: коллизии рыночного и государственного регулирования» заключается в том, что в ней рассматриваются «коллизии государственного и рыночного регулирования хлебной торговли военного времени» с учетом динамики обобщенных хлебных цен, которая анализируется «на фоне разрушения хлебного рынка и в информационном пространстве военного времени» (с. 73). То, что Н. Ф. Тагирова уделила особое внимание фактору информационного пространства, является несомненной удачей ее исследования, однако это не освобождает автора от разделения этого пространства на дофевральский и послефевральский сегменты. До Февраля 1917 г. проблема состояла не в производстве хлеба, а в его распределении посредством перевозок, прежде всего по железным дорогам, которые, так или иначе, но со своей задачей справлялись удовлетворительно.

Представитель Всероссийского союза инженеров и техников путей сообщения А. Н. Фролов говорил на Государственном совещании 15 августа 1917 г.:

<sup>13</sup> Кан Г. С. Наталья Климова. Жизнь и борьба. СПб., 2012. С. 156.

<sup>14</sup> Государственное совещание. М.–Л., 1930. С. 64–65.

«До революции в железнодорожном транспорте царила рутина. Совершалось много ошибок, делались глупости, но, невзирая на это, работа железных дорог непрерывно во время войны росла, количество перевозок непрерывно возрастало»<sup>15</sup>. Ситуация изменилась, естественно, в худшую сторону только после Февральского переворота. Представитель Совета частных железных дорог Н. Д. Байдак, также выступавший 15 августа, заявил: «Нет сомнений, что данное правительством в первые дни переворота направление привело железные дороги к разрухе»<sup>16</sup>. «После революции, — вторил Байдаку Фролов, — работа железных дорог непрерывно падает, и в июле месяце, в это легчайшее время для железнодорожного движения, работа железных дорог была меньше, чем в январе, когда половина наших железных дорог была засыпана снегом»<sup>17</sup>. Очевидно, что и в данном случае надо различать, как минимум, «две России» — дофевральскую и послефевральскую.

Представитель Всероссийской сельскохозяйственной палаты и сельскохозяйственных обществ К. Н. Капащинский заявил на заседании Государственного совещания 15 августа: «У нас с момента революции, надо сказать правду, не было Министерства земледелия, а было и есть Министерство политической подготовки страны к проведению аграрной реформы. Сельское же хозяйство совершенно забыто и приходится вести ломку земельного строя не при нормальных условиях, а при кризисе сельского хозяйства всей страны, когда вместо полей явились какие-то площади пустырей»<sup>18</sup>. Наблюдавшееся после Февраля 1917 г. вторжение политики в экономику привело к тому, что проблематичный характер обрело не только распределение, но и само производство хлебов.

Экономический раздел сборника завершает статья В. Н. Парамонова «Качество жизни населения России в 1914–1917 гг.». «Революция 1917 г., — по мнению автора, — была следствием не только экономических предпосылок (спада промышленного производства гражданской продукции, инфляции, нарушения хозяйственных связей в стране, транспортных трудностей и т. д.), но и ухудшения условий жизни населения, снижения уровня образования, падения морально-этических норм и др.» (с. 115). Несомненно, качество жизни населения России в годы Великой войны ухудшилось, но, как минимум, надо различать положение в городе и деревне: если в первом качество жизни действительно заметно ухудшилось, доказательством чему стал получивший широкое распространение в 1916 г. феномен «очереди», то вторая, в этом смысле, оказалась в более выигрышной ситуации, которую породили прекращение хлебного экспорта, введение сухого закона, пайки, выплачивавшиеся государством солдатским семьям, и т. д. Не случайно именно во время войны учреждения мелкого кредита получили еще большее распространение именно в деревне, а вклады в них

<sup>15</sup> Там же. С. 173.

<sup>16</sup> Там же. С. 172.

<sup>17</sup> Там же. С. 173.

<sup>18</sup> Там же. С. 241.

имели тенденцию к постоянному росту. Помимо города и деревни необходимо также выделять фронт, где качество жизни отличала своя специфика — физические лишения и опасности здесь компенсировались улучшением материального обеспечения — вся экономика работала прежде всего на фронт.

Общей чертой многих статей экономического раздела является сведение революции 1917 г. к функции экономических процессов, иными словами — проблема стихийности или организованности революций трактуется с упором на стихийность, и это естественно — не только в российском научном, но и в массовом сознании по отношению к слову «революция» проявляется своего рода терминологический фетишизм. Если, например, новая история Испании знает более десятка «революций», под которыми понимается любой, даже самый верхушечный, переворот, то у нас «революция» рассматривается как некий природный феномен, наподобие землетрясения или цунами. Понятно, что подобный подход подразумевает полное снятие вины за революцию 1917 г. и с власти, и с общества, и с Николая II, и с А. Ф. Керенского, и с В. И. Ленина. Если революция своей стихийностью сродни Тунгусскому метеориту, то при чем же здесь конкретные исторические деятели? Между тем, отечественные исследователи постоянно возлагают вину за революцию то на власть, то на общество, то на исторических деятелей. Такое разительное противоречие с логической неизбежностью указывает на дефектность изначальной установки и на двойственную природу революции, на то, что это явление, как, впрочем, и всякий иной социальный, а не природный, феномен, объединяет в себе элементы стихийности и организованности. Важно, чтобы один из факторов — стихийность или организованность — не перевешивал другой, а главное — не вмешивался в сферу чужой компетенции. Только тогда роль человека и человеческого в истории получит адекватную трактовку, причем ее персонификация равно необходима не только на верхних, но также на средних и нижних уровнях, выявляя на всех группах, которые иначе как элитными не назовешь.

Собственно, человеческому измерению Великой войны и посвящен раздел 2 сборника «Общественные настроения, политики», открывающийся статьей О. А. Суховой «Первая мировая война как вызов русской ментальности: массовые настроения в провинции в 1914–1917 гг.». В этой новаторской статье, пожалуй — наиболее методологической из всех статей сборника, рассматривается роль и значение Первой мировой войны как фактора ментальной динамики. «Результатом кризиса антропосоциетального соответствия, рожденного еще до войны как реакция на вызов либерального идеала и многократно усиленного в представлениях массового сознания тяготами войны, стало, — полагает О. А. Сухова, — возвращение к варианту крайней традиционализации в предельном значении этого понятия» (с. 138).

Свойственной статье О. А. Суховой высокий уровень обобщения имеет и свою оборотную сторону: обобщение — это всегда не только усложнение, но и упрощение, которое в данном случае сводится к допущению, что мен-

тальную динамику определял только один фактор — «возвращение к варианту крайней традиционализации», хотя, как представляется, методологически более верным было бы выделение нескольких факторов и выстраивание их иерархии. Целесообразность именно такого подхода подтверждается и на примере статьи Н. С. Сидоренко «Эволюция политической атмосферы провинциального общества в условиях Первой мировой войны (на примере губерний Урала)». Описывая то, как «политическая атмосфера на Урале в условиях Первой мировой войны претерпела глубокие изменения», автор пишет: «Росло ощущение того, что виновником всех бед и неудач является монархический режим. Широкое распространение получила критика в адрес монарха и его ближайшего окружения... В части общества был преодолен психологический барьер “покорности судьбе” и росла готовность применения революционных средств борьбы за свои права даже в условиях военного времени» (с. 152).

Корректируя выводы Н. С. Сидоренко, необходимо отметить, что недовольство монархом не означало разочарования в «монархическом режиме», а замещение «патриотических установок» готовностью «применения революционных средств борьбы» не вело к немедленному отказу от этой установки, поскольку накануне и в ходе Февральской революции преобладала именно патриотическая риторика в ее националистической форме «борьбы с немецким засильем», против гипотетической измены если не Николая II, то Александры Федоровны и их окружения, «германофильской камарильи». Лозунг «революция во имя победы», объединивший в Феврале 1917 г. верхи и низы, правых и левых, не имел антипатриотического подтекста, и только впоследствии «революция» стала ассоциироваться исключительно с интернационализмом.

Ю. А. Жердева в статье «Иллюстрированная пресса как источник формирования образа войны в 1914–1918 гг.» пришла к обоснованному выводу, что «образ войны, который формировала российская иллюстрированная пресса, представлял собой совокупность мифологем, соответствовавших определенным идеологическим конструкциям и скорее имитировавших действительность фронта, чем иллюстрировавших ее» (с. 173). Ю. А. Жердева почему-то не оговаривается, что, согласно дискурс-анализу, «совокупность мифологем» только и может имитировать какую-либо действительность, а не иллюстрировать ее, в чем и проявляется параллельность дискурса, в частности — о Великой войне, так называемой исторической реальности. Более актуальным является не просто вычленение конкретного дискурса, а изучение проблемы его формирования, соотношения между событием-поводом и представлением о нем. В связи с этим особый интерес представляет статья А. В. Венкова «Подвиг Козьмы Крючкова: пропаганда и факты», в которой рассматривается конструирование мифа о, пожалуй, самом знаменитом российском герое Первой мировой войны. А. В. Венков находит, что «этот поступок, действительно продемонстрировавший храбрость и высокие боевые качества донских казаков, официальная пропаганда раздула и превратила в миф Первой мировой войны» (с. 181).

Н. П. Фомичева в статье «Война 1914–1918 гг. в судьбе самарского либерала», написанной по материалам архива самарского кадета А. Г. Ёлшина, рассматривает Великую войну как «звездный час» российского либерализма и... причину его краха. «Ориентированные на ценности западной демократии, — отмечает Н. П. Фомичева, — российские либералы не получили поддержки народных масс и сошли с исторической арены» (с. 192). Можно согласиться с автором, что российские либералы ориентировались «на ценности западной демократии», однако на ценности чисто доктринальные, а не реализованные в полной мере к 1914 г. В отличие от западных либералов российские отличались максимализмом, являясь не прагматиками, как первые, а доктринерами. «Пусть рушится мир, но торжествует программа моей партии», — был девиз этих доктринеров, и, думается, именно здесь и кроется причина их поражения.

Несомненно, один из главных экспертов по либеральной интеллигенции начала XX в. — В. В. Розанов, которому В. И. Гольцов посвятил статью «Проблема патриотизма в трудах В. В. Розанова в годы Первой мировой войны». По наблюдениям В. И. Гольцова, в ходе войны представления В. В. Розанова о патриотизме претерпели кардинальную эволюцию — от ура-патриотизма до самокритики. Вместо «казенного патриотизма, основанного на ксенофобии, национализме, империализме», у Розанова появляются «искренняя боль за родину и сочувствие ей»: как ни парадоксально, «в этом смысле Розанов стал большим патриотом, чем в начале войны». По мнению В. В. Гольцова, его герой не осознал, что «причиной событий 1917 г. в значительной степени стала война, воспеваемая в том числе и им», а потому искал «причины катастрофы весьма поверхностно — в деятельности либеральной общественности и даже в русской беллетристике» (с. 214–215). С этим выводом едва ли можно согласиться.

Глубина розановского анализа как раз и заключается в том, что, в отличие от многих своих современников, он видел за деревьями лес — те долговременные тенденции, которые независимо от Великой войны должны были привести и в конце концов — привели к падению Российской империи: бескомпромиссность оппозиции и оппозиционность литературы, формировавшие духовную атмосферу русского общества на протяжении десятилетий. Впрочем, до сих пор популярное в историографии возложение вины на власть или общество в рамках дихотомии «власть–общество» малопродуктивно, поскольку сама эта дихотомия весьма условна, ибо власть и общество взаимопроникали друг друга, накладывались друг на друга институционально, персонально и т. д. Большинство общественных деятелей находились на государственной службе (в том числе, например, профессора или земцы) и имели чины, хотя бы и небольшие, а большинство чиновников, будучи живыми людьми, обладали собственными политическими, преимущественно либеральными, и даже более левыми, взглядами и идентифицировали себя с кадетами или октябристами не только неформально, например — при выборах в Государственную Думу, но и формально — пребывая в той или иной партии в качестве рядового члена или даже одного из ее

руководителей. Линия разделения проходила не между властью и обществом, но внутри власти и внутри общества.

Вся условность дихотомии «власть–общество» видна на примере А. Ф. Керенского, в статье С. В. Тютюкина «Начало министерской карьеры Александра Керенского в 1917 г.». Весной 1917 г., подчеркивает Тютюкин, в министерской деятельности А. Ф. Керенского «были и реализм, и революционный порыв, и даже некая революционная романтика, но Керенский быстро растерял всё это, буквально раздавленный той непосильной ношей, которую сам же на себя и взвалил. Тем самым он дал блестящий политический урок тем, кто захотел бы повторить его путь в 1917 г. (но, естественно, без подобного финала). Но кто же, — задается риторическим вопросом исследователь, — изучает сегодня опыт истории?» (с. 225). Впрочем, в случае с А. Ф. Керенским этот вопрос отнюдь не риторический, принимая во внимание итоги его деятельности, которые сам он живописал 12 августа 1917 г. на Государственном совещании: «Голодающие города, всё более и более расстраивающийся транспорт, <...> падение производительности в промышленной и заводской работе... — привело к тому, что <...> расхищение, исчезновение национальных богатств и орудий защиты и творчества одновременно сопровождается опустошением государственной казны и великим финансовым и денежным кризисом»<sup>19</sup>.

Впрочем, при всех своих недостатках А. Ф. Керенский обладал таким ценным для политика качеством, как способность к эволюции, основанной на честном переосмыслении исторического опыта, прежде всего — России XX в. «Теперь, после ужасов большевистского террора, — восклицал А. Ф. Керенский в 1936 г., — трудно даже представить, что Николай II, сидя на престоле, казался чудовищем, прозванным — подумать только! — Николаем Кровавым. Какая ирония звучит теперь в этих словах!» А. Ф. Керенский был «вполне убежден, что красный террор вынуждает нас или вынудит в скором будущем пересмотреть вопрос о личной ответственности Николая II за несчастья и катастрофы во время его царствования». «По крайней мере, я, — признавался бывший сторонник царевубийства, — уже не вижу в нем “бесчеловечного зверя”, каким он еще недавно казался. В любом случае сегодня лучше представляются человеческие аспекты его действий, выясняется, что он боролся с терроризмом без всякой личной злобы... Безусловно, все казни, совершавшиеся при старом режиме, обращаются в ничто по сравнению с потоками крови, пролитыми большевиками»<sup>20</sup>. Как говорится, лучше поздно, чем никогда...

А. В. Калягин в статье «В. И. Ленин, Г. В. Плеханов и вопрос о социалистической революции в России (апрель–июнь 1917 г.)» подверг сравнительному анализу идейные и тактические позиции Ленина и Плеханова в апреле–июне 1917 г., причем уточнил сложившиеся в науке и общественном сознании

<sup>19</sup> Государственное совещание. М.–Л., 1930. С. 5.

<sup>20</sup> *Керенский А. Ф.* Трагедия династии Романовых. М., 2005. С. 134, 135 (первое, франкоязычное, издание — Париж, 1936).

представления о том, в какой степени первый придерживался «курса на революцию социалистическую», а второй — «курса на революцию буржуазную». Если «в оценках материальной готовности (или точнее неготовности) России к социализму Плеханов и Ленин занимали близкие позиции», то «реальным центром их разногласий был вопрос о власти» (с. 240–241). Было бы, вероятно, целесообразно более подробно рассмотреть и то, как идеологи и практики российской социал-демократии расценивали перспективы социалистической революции в Европе, поскольку очевидно, что именно надежда на то, что «Европа нас поддержит», во многом определяла отношение Ленина к вопросу о власти.

В русле модного ныне в хорошем смысле этого слова историографического тренда, связанного с изучением исторической памяти, написана статья О. А. Шашковой «“Люди Фронды” меж двух революций 1917 г.: Из истории собирания наследия Февраля». В ней рассмотрены институты (общества) и субъекты (историки) формирования исторической памяти о Февральской революции, захватившей представителей всех основных политических течений. «Можно лишь поражаться, — подчеркивает Шашкова, — тому энтузиазму, с которым интеллектуальная элита встречала начало крушения российской государственности. Их энергия была “вознаграждена” с лихвой: часть привыкших к борьбе деятелей встала в оппозицию и к новой, большевистской власти уже в начале 1920-х годов, немало их скончалось в годы Гражданской войны, а многие были просто выдворены из страны» (с. 269–270). Да, революция пожирает своих детей, но и дети мстят своей матери, что проявляется особенно наглядно в ходе процесса коммеморации, когда создаются конкурирующие памяти об одном и том же событии, в зависимости от того, какой стороной — лицевой или оборотной — повернулось оно к субъекту коммеморации.

Чаще всего историческая память обретает самодовлеющее значение по отношению к двум объектам коммеморации — революции и дипломатии, и, как бы подтверждая это, раздел 3 сборника называется «Международные отношения, дипломатия». Статья В. И. Голдина «Международные отношения на Европейском Севере в годы Первой мировой войны», весьма оригинальная по замыслу и его воплощению, вызывает, однако, один, но весьма существенный с точки зрения методологии вопрос — не является ли слишком искусственным выделение Европейского Севера в качестве особой геополитической реальности применительно именно к периоду Великой войны? Конечно, современные интеграционные процессы дают основания говорить о Европейском Севере как особой геополитической реальности, но всегда ли экстраполирование современных реалий целесообразно при проведении исторических исследований? В любом случае не вызывает сомнений вывод Голдина, что Первая мировая война «существенно изменила характер и привела к глубоким и разнообразным последствиям в системе международных отношений на Европейском Севере» (с. 288).

Г. М. Садовая в статье «Россия и Германия в Первой мировой войне: точка зрения В. Ратенау» рассмотрела соперничество двух держав сквозь призму личности выдающегося немецкого государственного и общественного деятеля,



проделавшего эволюцию от «русофоба» до «русофила». «Принимая во внимание приоритет экономических факторов, — отмечает Садовая, — Ратенау категорически отрицал территориальные захваты и прямую аннексию. Именно поэтому он не принял Брест-Литовский мир 1918 г., противоречащий его принципам интеграции Европы под эгидой Германии» (с. 302). Так, вопреки сиюминутной политической конъюнктуре, восстанавливался тандем «Россия–Германия», вырастая корнями из вековой дружбы двух монархий и касаясь молодыми кронами космических пространств мировой революции.

Статья В. Пискуна «Институциональное становление дипломатии и внешнеполитические ориентации украинских правительств (1917–1918 гг.)» посвящена формированию основ дипломатической службы Украины и векторов ее внешней политики. Автор, однако, склонен рассматривать Украину как бы в безвоздушном пространстве, забывая, что она в указанный период не являлась действительно самостоятельным субъектом международного права, подвергаясь немецкой оккупации, а не только «агрессии Советской России». Сам же В. Пискун признает, что подписание Брестского договора «породило нестабильность и неудовлетворенность населения пребыванием войска союзников в пределах Украины». Оно и понятно — немцы были, во-первых, союзниками поневоле, ставя на первое место стратегическую необходимость полного прекращения войны на Восточном фронте, а вторых — у них никогда не существовало консолидированного отношения к Украине: если кайзеровский МИД поддерживал украинскую государственность, то германское командование видело в ней эмбрион для воссоздания монархической России, лояльной к Германии. Неудивительно, что всё это вместе с Ноябрьской революцией 1918 г. «дало большевикам возможность начать новую войну против Украины» (с. 318–319), закончившуюся созданием УССР и значительным увеличением ее территории за счет присоединения, по инициативе Ленина, Новороссии.

Последствия Брестского мирного договора анализирует и Л. В. Ланник в статье «Брестская система международных отношений и германская военная элита». «При той калейдоскопической быстроте развития событий, которая характерна для России и ее соседей в 1918 г., — подчеркивает он, — при лихорадочной изворотливости германского военного и политического руководства одно из оснований Бреста осталось неизменным: он действовал на основе сосуществования исключительно с большевистской Россией... Запоздалым признанием этого стала “дипломатическая капитуляция”, т. е. разрыв дипломатических отношений с большевиками по инициативе Германии» (с. 334). Можно согласиться, что Брестский мир явился Троянским конем, подготовленным большевиками для Вильгельма II, но, с другой стороны, внутривнутриполитическое положение большевиков и после «капитуляции» во многом зависело именно от немцев, и если этот фактор оказался холостым, то в силу недалководидности руководителей антибольшевистского движения в России, хотя и среди них имелись исключения, например — П. Н. Милуков.

Г. Мамулия в статье «Кавказ и державы Четверного союза в 1918 г.». прослеживает генезис и последующее развитие интеграционных проектов, осуществившихся в это время местной политической элитой как на Южном, так и на Северном Кавказе, а также анализирует роль германского и турецкого факторов в возникновении на Кавказе независимых государств. «Раскол в мае 1918 г. Закавказской республики на национальные государства, — считает автор, — имел трагические последствия для последующих судеб народов Кавказа» (с. 356). Представляется, однако, что раскол Закавказской республики был неизбежен как в силу искусственности этого образования, так и из-за того, что в 1918 г. по причине тогдашнего геополитического расклада центробежные силы на Кавказе довели над центростремительными.

Статья Дж. Гасанлы «Внешняя политика Азербайджанской Республики: первая попытка движения к независимости» рассматривается дипломатическая деятельность независимого Азербайджана в 1918–1920 гг. По наблюдениям автора, в это время «азербайджанская дипломатия прошла показательный путь от ориентации на Турцию в первые месяцы независимости до момента признания де-факто Верховным советом Парижской мирной конференции» (с. 379). Эволюция азербайджанской дипломатии, показывая, что в указанный период Азербайджан, как и другие кавказские государства, во многом являлся объектом геополитической игры великих держав, объясняет, почему его равноправие как субъекта международного права, несмотря на благие пожелания азербайджанских дипломатов, было фикцией.

С. М. Исхаков в статье «Представители мусульманских народов Европейской России, Сибири, Кавказа, Крыма и Центральной Азии на Парижской мирной конференции» делает принципиальные выводы о политике Запада по отношению к «мусульманскому вопросу», существенно дополняющие выводы, сделанные предыдущими авторами. «Провозгласившие свою независимость мусульманские республики, возникшие на месте развалившейся Российской империи, — отмечает С. М. Исхаков, — возлагали большие надежды на Парижскую мирную конференцию, рассчитывая получить признание со стороны мировых держав и стать равноправным членом международного сообщества, чтобы обеспечить суверенитет и свою территориальную целостность, но разрешения “мусульманского” вопроса не произошло из-за позиции Лондона, Парижа и Вашингтона» (с. 402–403). Следовательно, вопреки расхожим представлениям советской и «национал-патриотической» историографии, западные державы делали ставку если не на сохранение территориальной целостности бывшей Российской империи, то, во всяком случае, на «замораживание» сложившегося статус-кво и уж, во всяком случае, отнюдь не стремились к ее полному распаду.

Красной нитью через весь сборник проходит спор между «пессимистами» и «оптимистами», которых объединяют и разъединяют попытки ответить на вопрос — в какой степени были обусловлены Великой войной Февральская

и Октябрьская революции и последовавшее за ними крушение Российской империи? Если встать «поверх барьеров», то этот вопрос обретает несколько схоластический характер. Конец империи предопределялся не столько совокупностью военных, политических, экономических и прочих причин, сколько обстоятельствами более высокого, так сказать — философского порядка, а точнее — законами социальной физики, тем, что любой государственный режим когда-нибудь умирает, хотя на момент кончины он может находиться на пике своего развития и функционировать эффективнее, чем когда-либо. Смертельная болезнь или смерть от кирпича, упавшего с крыши, поражает совершенный организм точно так же, как и несовершенный. Гений уходит из этого мира точно так же, как и бездарность. «Ничто не вечно под Луной...». Фраза эта, при всей своей банальности, тем не менее сохраняет свою актуальность и при решении вопроса о причинах крушения Российской империи. Но — спустимся на грешную землю, где спор между «пессимистами» и «оптимистами» в связи со 100-летием начала Великой войны обрел новое дыхание. А раз так — изучение истории России периода 1914–1918 гг. успешно продолжается.